

# Библиография

Федор Николаи

## **Национализация памяти, академическая экспертиза и низовые практики коммеморации:**

ТРИ СТРАТЕГИИ MEMORY STUDIES

DOI: 10.53953/08696365\_2023\_181\_3\_318

### **Память о Второй мировой войне за пределами Европы:**

Коллект. монография / Под ред. А.И. Миллера, А.В. Соловьева.

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. —  
264 с. — 1000 экз.

### **Федотова М. Миф о севастопольской обороне 1854—1855 гг. в культурной памяти Российской империи.**

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. —  
342 с. — 600 экз.

### **Уинтер Дж. Места памяти, места скорби: Первая мировая война в культурной истории Европы / Пер. с англ. А.В. Глебовской.**

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023. —  
392 с. — 800 экз.

Дискуссии об исторической памяти не утихают в современном российском обществе и все чаще становятся средством легитимации политического противопоставления «своих» и «чужих». Проблематика этической ответственности и важность практик коммеморации для функционирования публичной сферы, о которой с 1980-х гг. столько писала А. Ассман, крайне редко находят свое воплощение в работах отечественных исследователей, гораздо чаще выступающих за нейтральность академической экспертизы. Преодолеть напряжение между этими стратегиями работы с памятью пока не представляется невозможным. Данный библиографический обзор не ставит перед собой такой задачи, но призван прояснить различие этих подходов по вопросам о носителях/актерах памяти и о темпоральных установках исследователей, которые делают акцент на тех или иных акторах.

Яркими примерами обозначенных стратегий служат три книги, недавно опубликованные Издательством Европейского университета в Санкт-Петербурге.

## Национализация памяти о Второй мировой войне

Первая аналитическая стратегия, достаточно широко распространенная в российских *memory studies*, ярче всего представлена в работах А.И. Миллера и его коллег, занимающихся политикой памяти. Здесь режимы памяти формируются прежде всего *государствами* и чаще всего носят *антагонистический* характер. Восточноевропейские «войны памяти» не являются исключением из правил, если говорить о мире в целом. И современный конфликт России с Украиной с этой точки зрения оказывается результатом длительного двустороннего антагонизма<sup>1</sup>. *Национализация памяти о Второй мировой войне* представляется авторам общемировым трендом: «Укрепление национальных идентичностей повсеместно рассматривается как залог государственной устойчивости и наиболее эффективный способ консолидации населения перед лицом внешней неопределенности, которая, вероятнее всего, будет господствовать в международных делах долгое время. Национализация памяти о Второй мировой войне превратилась в безраздельно господствующую тенденцию...» (с. 9).



Однако большинство глав книги не подтверждают этого тезиса: речь в них идет скорее о попытках консервативных элит использовать память в своих интересах. Национализм при этом оказывается способом мобилизации общественного мнения, которое далеко не всегда откликается на такие попытки. Лишь там, где речь идет о единственной партии (как, например, в Китае), эта стратегия скорее срабатывает, хотя и то не полностью. Как показывает в своей главе *Я.В. Лексютина*, в 1940—1980-е гг. критика японской агрессии в Китае была крайне ограничена, но после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. руководство компартии, пытаясь объединить общество, начало поощрять «новый китайский национализм». Своей кульминации

эта стратегия достигла в период правления Си Цзиньпина, когда Японо-китайская война стала рассматриваться как начало «великого возрождения китайской нации»: «В китайском официальном дискурсе выстроена непосредственная связь между концепцией китайской мечты и победой Китая в антияпонской войне: “Великая победа в Войне сопротивления японской агрессии... полностью смыла национальное унижение... восстановила статус Китая как великой державы... открыла новый исторический путь возрождения из пепла”» (с. 16). Такая версия памяти предполагает активное конструирование образа врага, которым в современном Китае, по мнению автора, все чаще изображается Япония.

1 Уточним, что Ф.А. Лукьянов и А.И. Миллер в предисловии к книге «Память о Второй мировой войне за пределами Европы» прямо называют действия российского правительства защитой от агрессивной риторики других стран: «События на Украине по своему нарративу (“денацификация”, “декоммунизация”) уже отсылают к идейно-политическим конфликтам относительно отдаленного прошлого. А западная реакция на них, связанная с попыткой просто исключить Россию из круга ответственных международных игроков, наносит удар по всей мировой системе, берущей начало в итогах Второй мировой» (с. 8).

Схожим образом политизацию памяти, как показывает в своей главе *П.В. Шльков*, проводит президент Турции Р. Эрдоган. В борьбе с левоцентристской Республиканской народной партией он активно использует историческую политику: приносит извинения за ошибки и преступления кемалистского режима (например, за Дерсимскую резню 1938 г.), критикует проводимую кемалистами политику секуляризации и разрешение употреблять спиртное, а также позицию нейтралитета президента И. Инёню в годы Второй мировой войны. Как справедливо отмечает Шльков, политизация истории при этом не просто ведется сверху, со стороны консервативных элит, но и поддерживается частью академических кругов, а также низших слоев общества, стремящихся повысить собственную значимость. То есть речь идет не о национализации, а о трех переплетающихся процессах: ностальгической идеализации прошлого перед лицом растущей неопределенности «снизу»; изменении корпоративной позиции экспертов (воспринимающих отработку определенного политического заказа как часть профессиональных обязанностей) и активизации консервативных элит.

Важно подчеркнуть, что и в Турции, и в Японии, и в Индии эта консервативная политика памяти не сосредоточена исключительно на Второй мировой войне и не является антагонистичной. Например, в Японии она активно используется консерваторами из Либерально-демократической партии для укрепления своих позиций. Но поскольку обострение территориальных споров в 2010-е гг. идет здесь сразу с тремя странами (вокруг «северных территорий» — с Россией; по островам Сэнкаку и Такэсима — с Китаем и Южной Кореей), устойчивой бинарной оппозиции «свой — чужой» не возникает. Кроме того, трагический нарратив, связанный с памятью о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, существенно ограничивает националистическую риторику. В Индии, как показывает в своей главе *А.В. Куприянов*, память о Второй мировой еще более противоречива и также не антагонистична. Как известно, в годы войны индийское общество раскололось на три группы: сохранивших лояльность Великобритании, готовых сотрудничать с антигитлеровской коалицией лишь после предоставления независимости и поддержавших Японию. Споры об этом расколе не позволяют унифицировать или как-то централизовать нарратив памяти: «В рамках одного течения внутри него превозносятся коллаборационисты, воевавшие на стороне стран “оси” (прежде всего Японской империи); в рамках другого — почитаются деяния индийских солдат, сражавшихся в Европе, Африке и Азии на стороне союзников» (с. 119). Индийские армия и правительство, «японофильское» и «синофильское» течения в культурной политике, а также представители разных партий вынуждены учитывать разногласия и избегать обострения противоречий. Во всех этих случаях редуцировать гетерогенные различия к единому тренду национализации памяти представляется не очень продуктивным. В значительной мере такая аналитическая стратегия повторяет жест консервативных элит, стремящихся выступать от лица *всего* народа и нивелирующих многочисленные политические, культурные и интеллектуальные противоречия.

Как показывают остальные главы книги, тезис Лукьянова и Миллера не работает еще в нескольких отношениях. Во-первых, сразу несколько сюжетов — о странах Африки, Латинской Америки, арабского мира, Северной и Южной Кореи (для которых вопрос о нации как о государственном либо надгосударственном сообществе сегодня крайне сложен и где даже представители разных поколений не соглашаются друг с другом в попытках ответить на него), — явно выходят за национальные рамки, то есть подчеркивают значимость более широких рамок памяти. Особенно показательна в этом отношении глава *Н.Г. Щербакова* о panaфриканизме и создании Организации африканского единства.

Во-вторых, концепция национализации памяти полностью игнорирует наследие социалистических/левых идей с характерным для них пафосом интернационализма,

сыгравшего колоссальную роль и во время Второй мировой войны, и в XX в. в целом. *И.О. Пеишков* и *З. Шмыт* рассматривают память о Второй мировой и советском периоде истории в Монголии как прагматический выбор политического пути в XX в., оказывающийся по ту сторону антагонизма «своего» и «чужого»: «Советское в этом контексте является одновременно своим и чужим. Своим — так как это был доминирующий язык модернизации, проникающий во все сферы монгольского общества, чужим — так как его целью (особенно после ухода поколения преданных коммунистов) всегда был путь к независимости. Результатом этого является дистанционная консолидация не только по поводу поддержки СССР, но и вообще советского опыта. Симпатия, не исключая критики и травм, но с ясным пониманием базовой исторической цели драм социалистического периода» (с. 105). Важно, что носителем этой памяти является даже не столько государство, сколько самые разные социальные группы и сообщества, рефлексирующие о своем прошлом: «Монгольская модель памяти включает социализм как путь к независимости, дружбу с СССР как путь к собственному государству, зависимую позицию и уничтожение традиционной культуры. В этой перспективе память о Второй мировой войне является сложным узлом, соединяющим не только все противоречия монгольской истории, но и представляющим консенсус монгольского общества по поводу сложного баланса отношений с СССР. <...> Мы имеем дело со спокойной дистанционной консолидацией общества, только частично поддержанной государством» (с. 100).

В-третьих, тезис о национализации памяти нивелирует дискурсивный контекст публичных высказываний о прошлом. При ближайшем рассмотрении контекстуальные различия оказываются значимы даже в Китае, где, «как правило, в выступлениях, предназначенных российской публике, — пишет Я.В. Лексютина, — китайская сторона выражает благодарность и признательность Советскому Союзу за предоставленную Китаю в ходе борьбы с японскими милитаристами военную, финансовую, кадровую и техническую помощь, подчеркивается вклад Советского Союза в победу над японскими милитаристами. Но уже в выступлениях перед китайской и широкой международной аудиторией Пекин не выделяет Советский Союз в ряду стран, сыгравших важную роль в борьбе с японскими агрессорами, роль Советского Союза ретушируется» (с. 23). Получается, что нарратив национализации памяти крайне подвижен и требует «пересборки» в зависимости от контекста и аудитории.

Наконец, тезис о национализации памяти унифицирует (и во многом легитимирует, провозглашая их неизбежными) слишком разные стратегии использования прошлого, не предлагая средств их сравнения или верификации. Например, в Северной (а во многом и в Южной) Корее до сих пор роль и советской, и американской армии в освобождении Кореи игнорируется в официальном политическом дискурсе: «Освобождение от японского империализма, — пишет *Н.Н. Ким*, — преподносится как историческое событие, в котором большую роль в целом сыграли борцы за независимость. Весь нарратив строится вокруг их заслуг, так что ныне живущие граждане РК должны всегда помнить, благодаря кому сегодня существует корейское государство. Заслуги советской и американской армий полностью выведены за рамки нарратива об освобождении. Вместе с тем надо признать, что правительство Мун Чжжина не доходит до абсурдного искажения истории, как это произошло в северокорейской официальной историографии, согласно которой Корею освободили отряды КНРА во главе с Ким Ир Сеном» (с. 73). В Иране и ряде арабских стран многие политики радикально отрицают холокост и стремятся оправдать попытки сотрудничества с Германией на начальном этапе войны: «...Эти нарративы, — замечает *Г.Г. Косач*, — предлагают своим национальным сообществам в качестве “героев” и “символов” тех, кого с полным основанием можно отнести к коллаборационистам» (с. 212). Здесь национализация памяти вызывает осторож-

ную критику исследователей, однако ее концептуальные основания не вполне понятны: критику вызывает любая политизация прошлого, или ее необъективность, или «невыгодность» для «нашей» версии памяти? Видимо, позиции авторов книги по этому вопросу несколько отличаются. В целом ситуация представляется большинству из них амбивалентной: «Резкая политизация прошлого, связанная с исчезновением будущего как проекта и усилением роли исторической аргументации в политике национальных государств, — пишут И.О. Пешков и З. Шмыт, — привела не только к войнам памяти, но и к переносу публичных форм прошлого в центр внутренней и внешней политики» (с. 99). Важно подчеркнуть, что здесь именно исчезновение будущего объясняет и оправдывает национализацию памяти и политизацию прошлого в интересах настоящего.

Должны ли эксперты поддерживать подобную консервативную политизацию, пытаться сохранить нейтралитет или активно критиковать и деконструировать ее? Как показывает масштабный опрос российских историков, проведенный в том же Европейском университете под руководством Михаила Соколова, в академическом сообществе преобладает именно средняя позиция<sup>2</sup>.

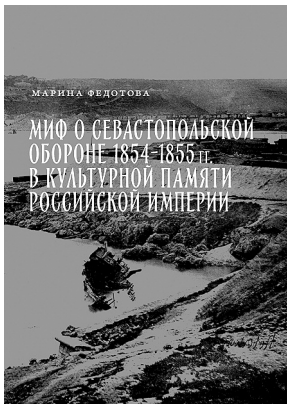
### «Севастопольский миф» и деполитизация культурной памяти

Вторая стратегия работы с памятью, широко распространенная среди российских исследователей, предполагает деполитизацию. Она переносит акцент на известные и устойчиво функционирующие нарративы культурной памяти (отделенной от памяти коммуникативной и актуальных политических споров, по мнению Я. Ассмана, интервалом в 80—100 лет). В ее рамках историк выступает не слугой национального государства, а прежде всего представителем академического сообщества и наследником влиятельных интеллектуальных традиций. Весьма показательна в этом отношении книга *Марины Федотовой* «Миф о севастопольской обороне 1854—1855 гг. в культурной памяти Российской империи». Автор рассматривает превращение военного поражения августа 1855 г. в один из героических символов национального триумфа. Ключевую роль в этой трансформации сыграли не идущая «сверху» государственная политика памяти и не активность «снизу» комбатантов, пытающихся описать личный фронтовой опыт, но прежде всего литературное воображение узкого слоя интеллектуалов и «бородинский миф» Л.Н. Толстого.

Как убедительно показывает Федотова, реализм «Севастопольских рассказов» и попытка деконструкции связанной с романтизмом официальной стратегии изображения боевых действий были в значительной степени ограничены военной цензурой: «В окончательной редакции изменилось количество глав (из 16 осталось 13), были изъяты фрагменты, фразы, строки “Сколько звездочек надето Анн, Владимиров”, “Ужасное слово *аристократ*”, фразы, которые могли бы опорочить русского офицера. Исчезли из текста упоминания о “вшах”, нецензурная брань, обозначенная в рукописи первыми буквами и точками. <...> Однако даже после того, как были ослаблены жесткие цензурные ограничения на творчество писателей, даже после смены поколений, с трудом воспринимавших “реализм”, деконструкция героического дискурса, “непарадная” и негероическая трактовка событий (особенно первых двух рассказов) не завоевали прочных позиций в культурной памяти» (с. 66, 68). «Севастопольские рассказы» как критическое изображение событий

2 См.: Соколов М. Российские историки: портрет академической профессии. СПб.: ИАНО ЕУСПб, 2023 (<http://ciase.ru/wp-content/uploads/2023/04/history-word-final1.pdf>).

их непосредственным участником были отеснены «бородинским мифом», который превращал конкретное сражение в воплощение складывавшегося десятилетиями военного нарратива о предшествующих победах Российской империи. Воображаемая победа «русского духа» отгесняла факты, которые в него не укладывались: неоправданные потери, отступление с поля боя и т.д. Присутствующие в «Севастопольских рассказах» саморефлексия автора, прием остранения (описанный В. Шкловским в том числе на примере текстов Л.Н. Толстого), дезэстетизирующий язык описания и отказ выводить из хаоса войны какой-либо патетический смысл не получили отклика аудитории: «Мифология севастьяпольской компании формировалась путем постепенного вымывания из официального дискурса следов интеллектуального конфликта, свидетельств, которые не вписывались в официальный “сценарий” прошлого. <...> Толстовская деконструкция героического дискурса, несмотря на первоначальные авторские интенции по демифологизации, не привела к преодолению прошлого. Эффект получился скорее обратный» (с. 288). Реализм Толстого и многих других участников событий, писавших о Крымской войне и обороне Севастополя, включал в себя мотив критики бездарности командования и политического руководства, которым противопоставлялись «мужество и стойкость духа русских солдат перед техническим превосходством европейцев» (с. 289). Такой нарратив существенно менял прежние романтические рамки памяти, но не так радикально, как предлагали «Севастопольские рассказы». Миф о «моральной победе» не стремился к отражению реальности, а нес интегративную функцию — поддерживал общественную солидарность и наделял воспроизводивших его высоким статусом наследников героического прошлого.



Важной причиной формирования «севастьяпольского мифа» и его востребованности в разных кругах российского общества стало использование религиозного языка коммеморации, ориентированного на идею духовного спасения: «Мифу о Крымской войне изначально был задан библейский контекст, обусловленный географией и предпосылкой конфликта» (с. 129). Практики коммеморации павших солдат оказались привязаны к 29 августа — дню поминовения Иоанна Крестителя, который придавал символический смысл их гибели: «Иоанн пострадал за истину и веру, и после своей физической мученической кончины обрел царство небесное. В этот же день начали почитать и погيبших за истину защитников Севастополя, насильствен-

ная гибель которых символизировала жертву, принесенную на алтарь *отечества* во имя спасения и будущей жизни. Таким образом, гибель за отечество уподоблялась мученичеству за веру. <...> Символика Пасхи, метафоры Воскресения и Спасения станут востребованы при конструировании мифа о проигранной войне в послевоенной, порефоренной, “обновленной” России» (с. 134). К анализу этого религиозного языка памяти мы еще вернемся, поскольку, как показывает третья рецензируемая книга, он был широко распространен во всей Европе второй половины XIX в. и существенно повлиял на восприятие Первой мировой войны во многих странах.

Кроме детализированного анализа этого религиозного языка, Федотова рассматривает конструирование мест памяти об обороне Севастополя как основы национального воображения, а также формирование пантеона героев — защитников города в лубочной литературе и, позднее, в журналах и прессе 1860—1870-х гг. Не менее интересен анализ откликов «снизу» на организацию 50-летнего юбилея событий 1854—1855 гг. Здесь вопросы помощи ветеранам, которые вновь оказались

разделены избирательностью государственной поддержки (нацеленной прежде всего на офицеров), спровоцировали воспроизводство сложившегося мифа в письмах на высочайшее имя с просьбами о пенсиях или помощи, поскольку «ветераны недостаточно обеспечены, влчат безотрадное существование, значительная часть престарелых ветеранов питается милостыней» (цит. по с. 279). Прагматика мифа о моральной победе позволяла обосновать комбатантам и их потомкам свою значимость и свои требования материальной компенсации страданий, которые они претерпели. Критические воспоминания и признание поражения шли бы вразрез с такими просьбами на высочайшее имя.

Вся эта механика работы памяти крайне существенна, и она тщательно анализируется в книге Федотовой. Однако важной составляющей авторского подхода становится радикальная деполитизация и исключение каких-либо отсылок к современности. Хотя историографический обзор в книге включает тексты 2000-х гг., советский и постсоветский периоды памяти о Крымской войне вообще не затрагиваются. Возможно, расширять общие хронологические рамки исследования было бы не очень продуктивно. Но тотальная деполитизация, видимо, связана и с концептуальной позицией исследователя, ориентированного на академическую нейтральность. С этой точки зрения научное сообщество может и должно быть над политическими спорами. Политика памяти стремится превратить какой-либо нарратив (героический или трагический) в инструмент мобилизации общественного мнения, тогда как академическое сообщество представляет все богатство и одновременно противоречивость прошлого и не готово к его упрощению. Именно эксперты оказываются привилегированными носителями памяти о гетерогенных аспектах прошлого, редуцируемых в рамках политизированных нарративов. Частная память и локальные практики коммеморации с этой точки зрения несамостоятельны: люди скорее присоединяются к господствующим нарративам и сложившимся в обществе рамкам памяти, укорененным в современности. Тогда как экспертам прошлое интересно тем, что принципиально отличается от настоящего.

На наш взгляд, при таком подходе явно недооцениваются практики коммеморации — низовая активность участников событий и их потомков, активно интерпретирующих или отвергающих господствующие нарративы и мнение экспертов.

### Практики коммеморации: «В поисках смысла беспрецедентной бойни...»



Как показывает в книге «Места памяти, места скорби» известный специалист по истории Первой мировой войны *Джей Уинтер*, низовые практики коммеморации сыграли огромную роль в культуре XX в. Более того, они сформировали основу публичной сферы, которую консервативные политики сегодня все чаще стремятся «национализировать» или от лица которой выступают левые интеллектуалы. Важно подчеркнуть, что практики коммеморации предполагают не пассивное воспроизведение господствующих нарративов, а их активную интерпретацию и выборочную «пересборку». Обсуждая с друзьями и близкими полученную информацию, люди исключают детали, которые кажутся им сомнительными, добавляют новые аргументы и сюжетные линии. Подобно концепции эмотива Уильяма Редди, который отмечает развер-

ные линии. Подобно концепции эмотива Уильяма Редди, который отмечает развер-

тывание эмоций в процессе высказывания<sup>3</sup>, воспоминания становятся более интенсивными или меняют свои оттенки в процессе интерсубъективного обсуждения.

Напомним, что теория практик делает акцент на перформативной трансформации языка и важности повседневной деятельности в воспроизводстве социальной системы<sup>4</sup>. Для практик характерны прагматизм и слабая рефлексивность. После Первой мировой войны практики коммеморации включали взаимную поддержку «сообществ вымышленного родства» — небольших групп ветеранов, родственников погибших и волонтеров, которые помогали им справиться с утратами и осмыслить свой пограничный опыт. Чувство солидарности здесь накладывалось на прагматику выживания и взаимопомощи в условиях, когда практически во всех государствах Европы социальные программы либо отсутствовали, либо не позволяли семьям фронтовиков и их погибших товарищей свести концы с концами. Чаще всего при этом солидарность озвучивалась не на социологическом языке Э. Дюркгейма, а на языке христианских представлений о милосердии и сострадании, которые предлагали понятные людям формулировки и ритуалы для выражения скорби по погибшим. «История скорби, — пишет Уинтер, — помогает вскрыть сущность общественной солидарности в послевоенный период. Да, в определенном смысле Первая мировая война поставила в центр общественной жизни бесчеловечность. Тем не менее во многих кругах сползание в бесчеловечность было не единственным и даже не основным откликом. Существовало и сострадание, и оно заслуживает того, чтобы признать его важнейшей составляющей процесса возвращения к нормальной жизни в послевоенные годы» (с. 16).

Активное использование религиозного языка для романтизации войны в 1914 г. сменилось в 1917—1918 гг. разочарованием: тяжесть войны все сильнее не стыковалась с героическим нарративом, используемым старыми элитами. И именно в кинематографе и литературе «потерянного поколения» произошло переплетение этого религиозного языка с новым модернистским языком. Фильм А. Ганса «Я обвиняю», романы «Огонь» А. Барбюса и «На западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка, живопись и графика О. Дикса выражали взгляды не оторванных от общества интеллектуалов, а огромной части социума. Модернизм оказывался востребован в контексте кризиса старых консервативных элит, использующих героизацию памяти о войне в своих политических целях. На этом фоне низовые практики коммеморации, как показывает Уинтер, выстраивались на пересечении христианских мотивов искупления, социального недовольства и поиска новых форм выражения скорби. Задачей интеллектуалов (как 1920—1930-х гг., так и современных) Уинтер считает стремление сделать эти полусознанные установки более рефлексивными: «Если мы хотим осмыслить и в конечном итоге оставить в прошлом все катаклизмы европейской истории недавно окончившегося века, нужно мысленно вернуться во времена войны, которая привела в движение все эти живучие центробежные и центростремительные силы, подтолкнув Европу и к единству, и прочь от него. <...> Книг по военной, экономической и дипломатической истории соответствующего периода хватит на несколько библиотек. При этом куда меньше внимания всегда уделялось процессам, посредством которых европейцы пытались осмыслить, а потом — изжить катастрофический опыт войны» (с. 9). То есть речь идет о проработке травматического опыта прошлого, которая противопоставляется его аффективному отыгрыванию или повторению в будущем.

3 Reddy W. *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2008.

4 См.: Волков В.В., Хархордин О.В. *Теория практик*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 11.



Именно в этом состоит для Уинтера «поиск смысла беспрецедентной бойни — Великой войны» (с. 10).

Такое осмысление направлено не только в прошлое и не только обладает политической прагматикой в настоящем, но и устремлено в будущее, поскольку настаивает на недопустимости повторения мировой войны: «Воинские мемориалы, безусловно, провозглашают дух гражданственности, однако через напоминание о том, что никак нельзя позволить, чтобы подобные жертвы были принесены повторно» (с. 133). В этом смысле предельно показательно, что завершает книгу Уинтера метафорическое обращение к картине П. Клее «Angelus novus», которая появилась из карикатуры на кайзера Вильгельма II как «пожирателя железа». Ангел истории оказывается устремлен в будущее, а сама акварель Клее в ее знаменитой интерпретации В. Бенямином представляет собой попытку совместить марксистский язык и мессианскую теологию.

Таким образом, концепция практик коммеморации Уинтера принципиально отличается от стратегии консервативной национализации памяти и нейтральности академического языка двумя моментами: главным актором памяти здесь выступают большие социальные группы, а представления о прошлом неотделимы от устремленности в будущее. Важно отметить, что трагедия Первой мировой войны — бессмысленной братоубийственной бойни, вызванной романтизацией милитаризма и имперского наследия, легитимацией растущего социального разрыва между жизнью элит и народов, — в значительной мере объединяет академическую историографию и коллективную память как европейского, так и российского общества. В этом контексте вдвойне странно, что подобная стратегия анализа крайне слабо востребована в российских *memory studies* и публичной истории. Поэтому ее реактуализация представляется более чем перспективной.

\* \* \*

Рецензируемые книги и соответствующие стратегии *memory studies* расходятся прежде всего в понимании носителей/акторов памяти: для А.И. Миллера и его сторонников важна государственная политика памяти; для М. Федотовой — позиция экспертного сообщества; для Дж. Уинтера — низовые практики коммеморации. Кроме того, существенно отличаются их темпоральные установки: в центре внимания исследователей государственной политики памяти находится современность; академическая экспертиза делает ставку на прошлое, «как оно было на самом деле», почти в духе Л. фон Ранке избегая проводить параллели с настоящим; для Уинтера и исследователей публичной сферы дискуссии о прошлом всегда связаны с представлениями о будущем и «горизонтом ожидания» (Р. Козеллек). Прямой корреляцией между акторами памяти и темпоральными установками определяются различия в политических взглядах авторов трех книг: консервативное оправдание оппозиции «свой — чужой» и антагонистической внешней политики, ведущей к конфликту; либеральная деполитизация и отказ обсуждать современные сюжеты; левая критика милитаризма консервативных элит с ее антивоенным пафосом «никогда снова». Ни одна из этих позиций не может претендовать на статус единственно верной. Но в современном контексте третья стратегия явно кажется недооцененной в российском академическом сообществе. В том числе потому, что реактуализирует проблему социальной функции исторической науки и гуманитарного знания: кому они служат — людям, государству или интересам корпорации экспертов? Ответ на этот вопрос напрямую связан с перспективами *memory studies* и выбором соответствующего языка описания прошлого.